



Марк Кросс

**Комната, которую
ты забыла**

Марк Кросс

Комната, которую ты забыла

<https://litres.ru/74501314>

SelfPub; 2026

Аннотация

«У людей, которые врут профессионально, обычно очень спокойные руки...»

Ловушка, которую Итан Кросс выстраивал два долгих года, захлопнулась. Известный психотерапевт Клэр Донован оказалась лицом к лицу с человеком, который знает о ней то, что она сама предпочла бы никогда не вспоминать.

Психологическая дуэль внутри запертой машины под проливным дождем выходит на новый, смертельно опасный уровень. Когда на кону стоит не просто репутация элитной клиники «Феррис», а их собственные жизни, бывшим врагам предстоит переписать правила игры прямо на ходу.

Единственный след ведет их прочь из города — к заброшенному загородному архиву, где за тяжелой железной дверью скрывается то, что они оба ищут. Место, которое когда-то называли «Комнатой, которую ты забыла». Но готовы ли они к тому, что настоящая опасность ждет их не в прошлом, а прямо за этой дверью?

Вторая книга дилогии.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	14
Глава 3	24
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Марк Кросс

Комната, которую ты забыла

Глава 1

Свет — вот что будит меня первым. Не звук, не боль, а именно свет: жёсткий, безжалостный прямоугольник на полу, будто кто-то специально выбрал угол, под которым солнце должно было ударить мне в лицо. Я открываю глаза и сразу же зажимаюсь снова, потому что этот свет режет так, как режет только похмелье, которого я не заслужила бокалом вина.

Секунду я не понимаю, где нахожусь. Потом вспоминаю — не всё сразу, кусками, будто память возвращают мне по одной карточке за раз, — и от этого узнавания меня выворачивает изнутри быстрее, чем я успеваю сесть.

Комната Вероники. Пол. Я на полу, щекой к дереву, и дерево холодное, будто пролежала я здесь не один час.

Пытаюсь подняться — руки не слушаются с первого раза, локоть подгибается, и я снова падаю на бок, ударяясь плечом. Во рту — сухость, которую я узнаю профессионально, раньше, чем успеваю испугаться лично: не обычная сушь после алкоголя, а та плотная, вязкая корка на нёбе, которая бывает после сильных седативных, после веществ, замедляющих слюноотделение вместе со всем остальным в организме. Голова раскалывается не изнутри наружу, а как будто снаружи внутрь — тупой, давящий обруч чуть выше бровей, тот самый, что я видела десятки раз у пациентов, описывающих похмелье после бензодиазепинов.

Меня опоили.

Я произношу это про себя дважды, чтобы слово перестало быть абстракцией и стало фактом, с которым можно работать. Опоили. Не напоили — опоили. Разница, которую я, психолог с двенадцатилетним стажем, отчего-то в состоянии сформулировать только сейчас, лёжа на полу в чужой квартире, а не вчера вечером, когда бокал стоял у меня в руке дольше, чем следовало бы держать бокал человеку, который расследует убийство.

Дверь открыта. Настежь, без единого намёка на замок, будто её никогда и не запирали, и это первое, что заставляет меня по-настоящему испугаться — сильнее, чем сама

сухость во рту, сильнее, чем обруч над бровями. Открытая дверь после всего, что произошло вчера, пугает больше, чем закрытая, потому что закрытая дверь предполагает, что кто-то держит тебя внутри специально. Открытая предполагает, что тебя выпустили, потому что больше не нужно держать.

Поднимаюсь на ноги — на этот раз получается, хоть и с третьей попытки, держась за косяк так, что костяшки белеют. Комната вокруг меня в дневном свете выглядит совершенно иначе, чем ночью, и от этого несоответствия у меня внутри что-то обрывается, коротко, будто лопнула натянутая струна.

Спирали на обоях — просто узор. Старый, выцветший растительный орнамент, какой продавали в строительных магазинах двадцать лет назад, с завитками, которые при определённом освещении и определённом состоянии сознания действительно можно принять за спирали, вложенные одна в другую. Глаз в центре каждой — не глаз. Просто пятно от старой протечки, коричневатое кольцо, разошедшееся неровными кругами по бумаге. Я подхожу ближе, провожу пальцем по обоям, будто прикосновение может доказать мне что-то, чего не может доказать зрение, и ничего не доказывает. Просто бумага. Просто пятно.

Шкаф — я поворачиваюсь к нему медленно, как пово-

рачиваются к тому, чего боятся увидеть заново, — открыт. Пуст. Ряд пустых плечиков покачивается на перекладине от сквозняка, идущего откуда-то из глубины квартиры, и никаких рубашек в нём больше нет, никакого запаха, никакой темноты, из которой вчера ночью выступало измождённое лицо женщины, которую я звала по имени.

Кровати нет. Я не сразу замечаю это — сначала кажется, что комната просто перестроилась в моей памяти, но нет: там, где вчера стояла кровать со скрученной жгутом простыней, сейчас голый пол, чуть более светлый прямоугольник паркета, будто мебель стояла здесь годами и её только что убрали. Тумбочка тоже исчезла. Книги — «Диссоциативные расстройства идентичности», та, что лежала открытой лицом вниз, — их нет нигде, ни на полу, ни на подоконнике.

Комод у окна — тот самый, из верхнего ящика которого я вчера достала папку — задвинут до упора, все три ящика вровень друг с другом, идеально, будто их месяцами никто не открывал.

Я опускаюсь на корточки у того места, где вчера нашупывала под матрасом край папки, хотя матраса больше нет и шупать нечего, и просто провожу ладонью по голому паркету, тупо, бессмысленно, как будто рука ещё помнит движение лучше, чем разум помнит смысл.

Свидетельство о браке. Фотография на пляже. Тетрадь в клетку с вдавленным в бумагу почерком. Всё это было у меня в руках. Я помню тяжесть папки, помню, как обломанный уголок царапнул кожу на запястье. Не могло присниться то, что имеет вес.

Но комната говорит мне обратное с той спокойной, необоримой убедительностью, с какой говорят только факты, а не слова: здесь давно никто не жил. Здесь давно ничего не происходило.

Я заставляю себя выйти в коридор — ноги несут меня быстрее, чем мне бы хотелось, будто тело торопится покинуть место, которому разум ещё пытается найти объяснение. Коридор в дневном свете короче, чем казался ночью, обычный коридор обычной дорогой квартиры, и половицы под моими шагами не издают ни звука, как и вчера, только сейчас в этом отсутствии скрипа нет ничего зловещего — просто хороший паркет, просто хорошая звукоизоляция, за которую платят хорошие деньги.

Кухня встречает меня чистотой, от которой у меня подкашиваются те немногие силы, что успели вернуться в ноги за последние пять минут.

Ни коробки с лапшой. Ни бокалов — ни одного, даже сухого, даже вымытого и оставленного на сушилке: раковина абсолютно, стерильно пуста, будто в этой кухне вообще никогда не готовили и не пили. Стол протёрт настолько тщательно, что дерево блестит под утренним солнцем сухим, ровным блеском, без единого пятна, без того тёмного разлитого следа от вина, который я видела своими глазами вчера, когда Итан резко поставил бокал.

Я стою посреди кухни и медленно поворачиваюсь вокруг своей оси, ища хоть что-то — заколку на журнальном столике, вмятину на диване от того, как я сидела, отпечаток чужого локтя на подушке, — и не нахожу ничего. Диван стоит так же, как стоял вчера, слегка не на своём месте, будто его действительно вчера привезли и не решили, куда сдвинуть на пятнадцать сантиметров, и это единственная деталь, которая не изменилась, единственная, которая совпадает с моей памятью, и от этого совпадения мне почему-то не легче, а страшнее: он не тронул только то, что не имело значения.

Он всё стёр. Аккуратно, методично, за те несколько часов, что я провела без сознания в комнате без кровати, без книг, без папки, без женщины в шкафу.

Или ничего не было вовсе.

Мысль приходит без предупреждения, холодная, тонкая, как игла, входящая под кожу быстрее, чем успеваешь почувствовать укол. Я психолог. Двенадцать лет практики. Я знаю, что бывает с человеком после длительного профессионального выгорания, знаю, что такое диссоциативный эпизод, знаю, что подмешанный препарат может провоцировать не только сон, но и яркие, убедительные, абсолютно достоверные на ощупь галлюцинации, которые память потом хранит с той же чёткостью, что и реальные события, — потому что мозгу всё равно, откуда брать материал для картинки, лишь бы картинка была цельной.

Что, если письма от Вероники были — были ли они вообще? Я не могу сейчас, стоя посреди этой стерильной кухни, вспомнить ни одного конкретного адреса отправителя, ни одной точной даты. Я помню ощущение от писем. Не сами письма.

Что, если я всё это время говорила с пустой квартирой?

Я хватаю сумку, которая почему-то лежит у входной двери — аккуратно, ручками вверх, будто её кто-то специально положил так, чтобы я нашла её сразу, не тратя времени на поиски, — и выхожу вон, почти бегом, не оглядываясь на дверь, которая захлопывается за мной с тем же глухим, спокойным звуком, каким захлопывалась вчера.

На улице утро — обычное, безразличное, с запахом кофе из кофейни на углу и людьми, идущими на работу с таким видом, будто мир вокруг них не сдвинулся ни на сантиметр за последние двенадцать часов. Я стою на тротуаре, вдыхая холодный воздух короткими, слишком частыми глотками, и говорю себе то, что говорила бы любому своему пациенту в такой ситуации: переутомление, стресс, возможно, срыв на фоне профессионального истощения, спровоцированный принятым против воли препаратом. Это объяснение звучит убедительно. Оно звучит настолько убедительно, что мне хочется в него поверить прямо здесь, на тротуаре, лишь бы не думать о том, что означало бы обратное.

До кабинета я иду пешком — специально, чтобы дать себе время, чтобы прийти в тот вид, в котором можно появиться перед регистратурой, не вызывая вопросов. Путь занимает сорок минут, и за все сорок минут я успеваю убедить себя почти полностью: не было ни Вероники, ни шкафа, ни голоса в темноте. Была тревожная фантазия, разросшаяся из настоящей, но давней, полузабытой истории пациента, чьё имя я, если покопаться в архиве, безусловно найду и чьё лицо, безусловно, окажется совершенно не похожим на то, что мне мерещилось ночью.

Я убеждаю себя настолько хорошо, что почти улыбаюсь,

поднимаясь по лестнице к своему кабинету, — и эта почти-улыбка держится ровно до того момента, как я сажусь за стол, открываю крышку рабочего ноутбука и вижу заставку, которую не устанавливала я сама.

Фотография — не случайная, не из галереи виндовс. Фасад здания, узнаваемый мгновенно, с той узнаваемостью, что бьёт под дых быстрее любого слова: клиника доктора Феррис, Мэдисон-авеню, тот самый вход, ту самую вывеску я видела тысячу раз, входя и выходя после смены, торопясь на следующую встречу.

А поверх фотографии, ровно посередине экрана, крупными белыми цифрами, идёт обратный отсчёт. Он уже запущен, уже давно, судя по тому, как ровно, без сбоя, цифры сменяют друг друга, зацикленно возвращаясь к началу каждый раз, когда доходят до нуля.

40.

Я смотрю на экран, не в силах отвести взгляд, и где-то в затылке, там, где вчера ещё была уверенность в собственном рассудке, начинает разрастаться холод, куда более осязаемый, чем любой сон.

37.

Он знает, где я сижу прямо сейчас. Он знает пароль от моего ноутбука. И где бы он ни был в эту секунду, он, безусловно, знает, что я на это смотрю.

Глава 2

Салон арендованной машины пахнет чужой жизнью — застарелым табаком, вьевшимся в ткань потолка ещё при позаштатном хозяине, и сладковатой, уже почти выветрившейся химией картонной ёлочки, болтающейся на зеркале заднего вида. Я не курю. Никогда не курил, если быть точным, но запах меня не раздражает — он часть декорации, такая же, как треснувший в правом нижнем углу лобовое стекло, через паутинку скола на котором я смотрю на фасад её клиники вот уже сорок минут. Скол искажает изображение здания ровно настолько, чтобы вывеска с золотыми буквами казалась чуть смещённой, будто у самого мира небольшое косоглазие. Мне это нравится. Правильная метафора для утра, в которое я собираюсь окончательно сместить её реальность.

Дождь начался минут двадцать назад — не ливень, а та мелкая, надоедливая морось, которая не столько падает, сколько оседает, липнет к металлу капота бисером, слишком мелким, чтобы стекать, слишком настойчивым, чтобы игнорировать. Дворники я не включаю. Звук хлюпающей резины по стеклу привлекает внимание в машине, стоящей на одном месте дольше положенного, а мне сегодня нужна абсолютная незаметность — серый седан, каких на этой улице десятков,

среди утренних доставщиков и таксистов, ждущих клиента у входа в бизнес-центр напротив.

Ноутбук лежит у меня на коленях, экран притемнён до минимума — привычка, выработанная годами, — но и этой яркости достаточно, чтобы видеть её лицо с той зернистой чёткостью, которую даёт дешёвая веб-камера встроенного в ноутбук микрофона: чуть смазанные по краям контуры, лёгкий цифровой шум в тенях под глазами, отчего тени эти выглядят глубже, чем они есть на самом деле. Хотя, подозреваю, сегодня утром камера ничего особо и не приукрашивает.

Она сидит неподвижно уже минуту, не меньше. Кофе в чашке рядом с ноутбуком — вижу пар, тонкую сизую нить, поднимающуюся и на мгновение размывающую картинку каждый раз, когда она подносит чашку ближе к камере, не поднося её ко рту. Не пьёт. Просто держит, потому что руки требуют хоть какого-то якоря, хоть какого-то предмета, за который можно уцепиться, чтобы не начать дрожать открыто. Дорогой шерстяной пиджак — тёмно-серый, с тонкой искрой нити, я узнаю его, она была в нём и на прошлой неделе, когда я *watching* её через окно кофейни на углу, — сидит на ней сегодня иначе, чем обычно: плечи будто стали на размер шире для этой ткани, потому что сама она внутри пиджака сжалась, стала меньше себя привычной.

Холодный свет монитора падает ей на скулы снизу вверх — неудачный ракурс, обнажающий именно то, что она обычно тщательно прячет в разговоре с пациентами: россыпь мелких морщин у внешних уголков глаз, синеватую бледность под нижними веками, которую никакой тональный крем не выдержит после такой ночи. Профессиональная маска, которую она носила весь вчерашний вечер, лежит сейчас где-то на полу её кабинета вместе со всем остальным, что она обычно надевает перед тем, как выйти к людям.

40.

Цифры на её экране мигают ровно, механически, без единой заминки — я тестировал скрипт три раза, прежде чем внедрить его через фиктивное обновление от IT-подрядчика клиники, где она числится внештатным консультантом. Хорошая деталь, к слову: клиника платит ей достаточно, чтобы у неё была причина доверять письмам якобы от собственного айти-отдела. Люди редко подозревают систему, которая им платит.

За окном, метрах в пятнадцати от меня, с натужным гулом проходит автобус — старый, судя по звуку двигателя, из тех,

что давно пора списать, — и брызги из-под колёс веером ложатся на бордюр, задевая край моего капота холодной мутной волной. Я не двигаюсь. Смотрю, как отражение автобуса на секунду проползает по стеклу её офиса, искажая изображение здания на моём экране, — камера ноутбука Клэр не фиксирует ничего снаружи, только её саму, но я вижу оба мира сразу, сшитые в одну картину: серую морось моей стороны улицы и стерильный, слишком яркий свет её кабинета.

Три года назад, в разгар лета, когда всё ещё только началось, я сидел в приёмной другого адвоката — не того, который вёл дело официально, а того, которого нанял Ричард Донован тайно, через третьи руки, чтобы решить вопрос до того, как он станет вопросом. Мне тогда потребовалось четыре месяца, чтобы выяснить хотя бы это имя. Донован не платил за молчание — молчание слишком ненадёжная валюта, оно требует постоянного обслуживания, шантажа, риска. Он купил кое-что понадёжнее: оригинал.

Карта пациента — та самая, с назначением, с подписью терапевта до неё, с подписью Клэр внизу, поставленной за сорок секунд слишком быстрого, слишком уверенного росчерка, — существовала в единственном подлинном экземпляре в архиве клиники Феррис. Копии, что фигурировали позже в разбирательстве комиссии, были уже переписаны, отретушированы, с добавленной строкой в графе предыдущих на-

значений, которой в оригинале не было и в помине, — строчкой, перекладывающей ответственность на терапевта, который, по счастливому совпадению, полгода спустя умер от инфаркта и не смог никому ничего опровергнуть. Настоящий документ, с настоящей хронологией, Донован не уничтожил. Люди его круга никогда не уничтожают компромат — они его хранят, потому что бумага, спрятанная в правильном месте, стоит дороже, чем бумага, сожжённая в камине. Мало ли когда понадобится доказать что-то самому себе, или шантажировать кого-то ещё, или просто держать руку на пульсе истории, которую сам же и переписал.

Оригинал лежит в личном сейфе Ричарда Донована — не дома, что было бы слишком очевидно для человека его осторожности, а в его собственном кабинете на третьем этаже той же клиники Феррис, где он до сих пор состоит в попечительском совете и куда заходит по средам и пятницам, когда у него запланированы встречи с директором. Кабинет заперт всегда, кроме тех часов, когда он там появляется лично. Сейф — старой модели, механический, с кодовым замком, который Донован не удосужился сменить за последние пять лет, потому что искренне верил: единственный человек, способный догадаться о его содержимом, надёжно забыл о его существовании ещё три года назад.

Он не учёл только одного. Забвение, которое он купил

своей дочери, было не её собственным. Оно принадлежало мне ровно в той же степени, что и ей, — только я, в отличие от Клэр, никогда не позволял себе забывать хоть секунду из тех сорока.

Таймер на её экране гаснет в последний раз, доходит до нуля и не запускается снова — я останавливаю скрипт вручную, потому что дальше сцена требует другого инструмента.

Набираю номер её рабочего телефона — не мобильного, стационарного, того самого, к которому она потянулась минуту назад и так и не довела жест до конца. Через камеру вижу, как она вздрагивает от первого гудка настолько резко, что чашка в её руке качается, и капля кофе выплёскивается на пиджак, оставляя тёмное пятно на серой шерсти чуть ниже воротника, — пятно, которое она даже не замечает, потому что взгляд её уже прикован не к чашке, а к мигающему на дисплее телефона номеру, которого нет в её контактах и не может быть.

Она берёт трубку после третьего гудка. Дольше тянуть — значит показать мне, что боится взять; меньше — значит показать, что уже сдалась. Три гудка — компромисс профессионала, который даже в панике продолжает считать, как считала вчера удары кулаком по двери.

— Кто это, — говорит она. Не вопрос. Утверждение, за которым прячется вопрос совсем другой.

— Доброе утро, доктор Донован, — говорю я тем самым, ровным голосом, которым говорил с ней вчера на диване, до того, как позволил себе трещину. — Надеюсь, кофе ещё горячий. Хотя, судя по пятну на пиджаке, вы им не особо наслаждаетесь.

Пауза на том конце — долгая, наполненная звуком её дыхания, которое она пытается сделать ровным и не может: слышу через динамик телефона, вижу через камеру, как поднимаются и опускаются её плечи чуть быстрее, чем должны.

— Что тебе нужно, — говорит она наконец, и в голосе — усталость человека, который перестал тратить силы на притворное недоумение.

— То, что твой отец забрал у моей семьи, — говорю я. — Оригинал карты пациента. Не ту отредактированную версию, что комиссия видела в деле. Настоящую. С настоящей хронологией назначений. С твоей подписью, поставленной за сорок секунд.

— Такого документа не существует, — говорит она слыш-

ком быстро, и я слышу, как дрожь просачивается в самый низ фразы, туда, где голос должен был бы звучать твёрже всего.

— Существует, — говорю я. — В личном сейфе твоего отца. Третий этаж клиники Феррис, кабинет в конце коридора, дверь без таблички, потому что он предпочитает, чтобы о его присутствии в здании знали немногие. Код замка — дата смерти твоей матери. Он не менял его пять лет, Клэр. Твой отец сентиментален ровно настолько, насколько это удобно ему самому.

Тишина на линии становится настолько плотной, что я почти физически ощущаю её через провод, — та тишина, которая наступает у человека в момент, когда рушится сразу два убеждения одновременно: что прошлое похоронено, и что отец, при всей его холодности, никогда бы не пошёл на нечто подобное ради неё.

— У тебя есть два часа, — говорю я. — До конца твоего обеденного перерыва — я проверял расписание, у тебя пациент в четырнадцать ноль-ноль, значит, с двенадцати до часу тридцати ты свободна. За это время ты попадёшь в кабинет отца, вскрыешь сейф и заберёшь запечатанный конверт. Я хочу его в руках сегодня, а не через неделю раздумий о том, стоит ли мне доверять.

— Ты просишь меня украсть, — говорит она, и в этом слове — «украсть» — впервые за весь разговор проступает что-то похожее на возмущение, слабую, последнюю попытку удержаться на моральной высоте, с которой она смотрела на меня вчера вечером.

— Я не прошу, — говорю я. — Если ты откажешься, или позвонишь в полицию раньше, чем я разрешу, или решишь, что твой адвокат умнее меня, — в течение часа аудиозапись твоего вчерашнего признания и копия рецепта с твоей подписью окажутся у медицинской комиссии штата и у трёх редакций, чьи адреса у меня давно готовы. Запись, на которой ты, доктор Донован, обвиняешь человека в убийстве без единого доказательства, а после сама признаёшься в незаконном проникновении в чужую квартиру. Плёнка утопит тебя без моей помощи, одной интонацией. Так что технически выбор у тебя есть. Практически — нет.

Через камеру вижу, как она закрывает глаза — не долго, на секунду, может, чуть больше, — а когда открывает их снова, в них уже нет той растерянности, что была минуту назад. Есть что-то другое, более холодное, более расчётливое, будто под слоем паники наконец обнажился тот самый профессиональный инстинкт выживания, ради пробуждения которого я, собственно, всё это и затеял.

— Я тебе перезвоню, — говорит она.

— Нет, — говорю я. — Ты не перезвонишь. Ты просто сделаешь то, что я сказал, и я узнаю об этом раньше, чем ты успеешь набрать мой номер.

Вешаю трубку первым — маленькое, но важное превосходство: последнее слово, последний щелчок разъединения должен принадлежать мне, а не ей. Через камеру смотрю, как она опускает телефон на стол не сразу, будто рука ещё несколько секунд не понимает, что разговор закончен, а потом кладёт ладонь себе на грудь, чуть ниже ключицы, и дышит — глубоко, судорожно, с тем сбоем на вдохе, который бывает у людей в момент, когда тело осознаёт то, что разум ещё отказывается признать: выбора действительно не осталось.

Дождь за моим стеклом усиливается, барабанит по крыше машины ровным, почти убаюкивающим ритмом, и я закрываю ноутбук, оставляя её одну в её кабинете, наедине с чашкой остывающего кофе, пятном на пиджаке и двумя часами, которые она проведёт, разучиваясь быть той женщиной, которой была вчера в семь вечера, когда позвонила в мою дверь, уверенная, что это она задаёт правила игры.

Глава 3

Коридор третьего этажа клиники Феррис пахнет так, как пахнет всегда — кисловатым, стерильным запахом антисептика, въевшимся в стены настолько глубоко, что его, кажется, не выветрить никаким ремонтом, поверх которого тянется едва уловимая химическая нота свежевыванного линолеума. Обычно я не замечаю этот запах — двенадцать лет практики приучают нос к больничному воздуху так же, как приучают к виду крови или к чужим слезам. Сегодня я чувствую каждую его молекулу отдельно, будто кто-то снял с меня привычную кожу и оставил рецепторы голыми.

Лампы дневного света над головой жужжат — тонко, монотонно, на грани слышимости, тот самый звук, который я слышала тысячу раз и никогда прежде не замечала, а сейчас он ввинчивается мне прямо в затылок, будто кто-то методично сверлит там маленькое отверстие. Где-то за стеной гудит кондиционер, ровно, безучастно, гоняя один и тот же воздух по одним и тем же трубам, и этот гул почему-то кажется мне сейчас единственным честным звуком во всём здании — механическим, лишённым намерения, в отличие от всего остального, что происходит вокруг меня последние два часа.

Я иду медленно. Слишком медленно для человека, у которого просто выдалась пауза между пациентами, и слишком быстро для человека, который прогуливается без цели, — и мне физически больно от того, что я не могу найти правильный темп шага, потому что тело, оказывается, тоже умеет предавать тебя изнутри, тем же способом, каким предаёт голос, срывающийся на середине фразы.

Навстречу идёт Морган — терапевт с четвёртого этажа, с которым я обмениваюсь дежурными приветствиями последние три года и ни разу не сказала друг другу больше десяти слов подряд. Он кивает мне, как всегда, ничего не значащим движением подбородка, и я улыбаюсь в ответ — растягиваю губы ровно настолько, насколько это делаю обычно, и всё равно мне кажется, что улыбка выходит неправильной формы, будто мышцы лица забыли правильную геометрию за одну бессонную ночь. Мне кажется, что он заметил пятно на пиджаке — тёмное, засохшее уже пятно от кофе чуть ниже воротника, которое я так и не удосужилась застирать, потому что руки дрожали слишком сильно, чтобы заниматься чем-то, кроме самого необходимого. Мне кажется, что он заметил мои глаза — красные то ли от бессонницы, то ли от того, что я весь последний час боролась с желанием разрыдаться прямо в кабинете между пациентами. Мне кажется вообще всё, и это самое отвратительное состояние, в котором я когда-либо находилась: я, специалист по чужой пара-

нойе, специалист, который годами объясняет пациентам, что мир не следит за ними так пристально, как им кажется, — сейчас иду по собственному рабочему коридору с абсолютной, животной уверенностью, что каждая пара глаз, попавшая мне на пути, читает по моему лицу слово «преступление».

У поворота к лестнице стоит охранник — молодой парень, Диего, кажется, я даже помню, что у него дочка родилась месяца два назад, потому что он всем показывал фотографии в холле, — и он тоже кивает мне, произносит своё обычное «добрый день, доктор Донован», и в этом простом, механическом приветствии мне чудится подтекст, которого там, я знаю разумом, нет и быть не может. Разум и тело сегодня не разговаривают друг с другом. Разум говорит: иди спокойно, это просто Диего, у него дочка, ему плевать на твой пиджак. Тело говорит: беги, тебя вычислили, всё кончено.

Дата смерти матери. Я думаю об этом, поднимаясь по лестнице, потому что думать об этом почему-то легче, чем думать о том, что я собираюсь сделать через пять минут. Итан выбрал именно эту дату не случайно — он вообще, кажется, не способен на случайность, — и жестокость этого выбора настолько точна, настолько хирургически выверена, что у меня перехватывает дыхание сильнее, чем от одной мысли о взломе сейфа. Он не просто узнал код моего отца. Он

узнал, что отец выбрал этот код. Он узнал дату, которую я сама стараюсь не произносить вслух дольше, чем в разговоре с собственным терапевтом раз в полгода, дату, которая для меня — не просто цифры, а холодная больничная палата, запах хлорки почти такой же, как здесь, и рука отца, впервые в жизни сжавшая мою руку так сильно, что остались синяки. Он выбрал именно её, чтобы напомнить мне: нет ничего настолько личного, до чего он не смог бы дотянуться.

Кабинет отца находится в самом конце коридора, за неприметной дверью без таблички — привилегия человека, которому не нужно объявлять о себе никому, кроме тех, кто и так знает, кто он такой. Секретарша, Дениз, поднимает на меня взгляд поверх монитора, и сердце у меня подскакивает так резко, что я на секунду теряю равновесие, хотя стою на месте.

— Доктор Донован, чем могу помочь?

— Мне нужно кое-что забрать из кабинета отца, — говорю я, и голос выходит удивительно ровным — профессиональная привычка держать интонацию даже тогда, когда внутри всё рушится, спасает меня впервые за сегодня, а не подводит. — Документы для комиссии, он просил занести до пятницы, а сам сейчас в операционной части здания.

Дениз не задаёт вопросов — с чего бы ей задавать вопросы дочери своего начальника, — просто протягивает мне запасной ключ из верхнего ящика стола, тот самый, который я видела здесь десятки раз за годы, и я беру его пальцами, которые, к моему ужасу, чуть заметно дрожат, и надеюсь, что она этого не замечает, а если и замечает, то спишет на то, что доктор Донован просто плохо спала.

Дверь кабинета отца открывается с тихим, тяжёлым щелчком, и я вхожу внутрь, закрываю её за собой и на секунду прислоняюсь спиной к дереву, будто это может дать мне хоть какую-то опору.

Кабинет отца всегда действовал на меня одинаково — подавлял. Не размером, хотя комната здесь и правда огромная для больничного этажа, а плотностью вещей в ней, той нарочитой, монументальной массивностью, которую любят люди, привыкшие, чтобы их власть можно было потрогать руками. Стол — тёмное дерево, почти чёрное, отполированное до блеска, в котором отражаются лампы под потолком искажёнными, вытянутыми пятнами света. Кожаные кресла — глубокие, дорогие, пахнущие той специфической кожей, которую не купишь в обычном мебельном магазине, а заказывают через дилера, называющего себя не продавцом, а куратором коллекции. Полки вдоль стены забиты книгами по медицине вперемишку с наградами в рамках, с фотографиями

отца рядом с людьми, чьи лица я узнаю по новостям, и над всем этим висит запах, въевшийся в обивку годами: дорогой табак — отец до сих пор курит сигары в своём кабинете, вопреки всем больничным правилам, потому что правила пишутся не для людей вроде него, — смешанный с чем-то ещё, более тонким, похожим на запах старой бумаги и полироли для дерева, и от этой смеси у меня начинает саднить в горле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.